

Максим Д. Шраер

ЕВРЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ НАБОКОВА

А человек умирает и распадается; отошёл, и где он?
Иов 14:10

...и коричневых париков трагических старух,
которых только что отравили газом
Набоков, *Лолита*

Введение: Набоков, еврей, изгнание

Отношение писателя-нееврея к еврейскому вопросу – своего рода барометр, показывающий место писателя на пересечении путей литературы и истории. В настоящий момент проблема восприятия творчества большого писателя в связи с его позицией по отношению к еврейскому вопросу стоит особенно актуально на Западе;¹ актуальна эта проблема и в современной России.

В настоящей статье рассматривается неисследованная грань двуязычного творческого опыта Владимира Набокова (1899-1977).² В романах и рассказах русского и американского периодов Набоков создал уникальную галерею еврейских персонажей. Кроме того, он населил свои произведения персонажами, которые выражают отношение неевреев к евреям, от юдофобства до юдофильства. Именно в среде эмигрантов-выходцев из России – в гораздо большей степени, чем в самой России – Набоков узнал евреев во всех проявлениях еврейского характера, от талантливых предпринимателей до нищих философов-экзистенциалистов.

Две основные причины привели к сближению Набокова с представителями российского еврейства в изгнании. Одна из них носила исторический характер: высокий процент евреев среди эмигрантов из России. Хотя дифференциальные статистические данные отсутствуют, можно предположить,

Автор благодарит Kenman Institute for Advanced Russian Studies, Lucius N. Littauer Foundation, Memorial Foundation for Jewish Culture и Boston College за финансовую поддержку. Ранний англоязычный вариант настоящей работы был прочитан в виде лекции в Mercantile Library, New York, USA.

¹ См., к примеру, недавнюю книгу Энтони Джулиуса о Т.С. Элиоте и антисемитизме, вызывавшую большую полемику: Anthony Julius, *T. S. Eliot, Anti-Semitism, and Literary Form*, New York 1995.

² Единственная известная мне обзорная работа о еврейской теме у Набокова – заметка Л. Космана „Владимир Набоков и еврейство“, *New American*, 1.12. 1988, 47-48.

что до десяти процентов эмигрантов, покинувших Россию после революции и гражданской войны, составляли евреи. Это означает, что примерно восемьдесят тысяч евреев из России жили в Европе между первой и второй мировой войнами.³ Евреи играли важную роль в политических и просветительских организациях эмиграции, и были особенно заметны в эмигрантской печати. Целый ряд ведущих издательств принадлежали еврейским семьям, и несколько важнейших газет либерального направления (е.g. „Руль“) редактировались евреями. (В недавнем тенденциозном трактате мир эмигрантской культуры представлен как порождение „жидо-масонского заговора“).⁴

Набоков прожил почти двадцать лет в Европе и сблизился со многими евреями-деятелями русской культуры. Трое из них сыграли особую роль в начале литературной карьеры Набокова: политик и журналист Иосиф Гессен, с отцовской заботливостью предоставлявший Набокову полосы редактируемого им „Руля“; поэт-сатирик Саша Чёрный, с вниманием и теплотой отнёсшийся к ранним стихам Набокова; тонкий ценитель литературы Юлий Айхенвальд, поддержавший молодого Набокова благосклонными рецензиями. Нельзя не упомянуть и об Илье Фондаминском, видном эсэре, религиозном мыслителе и меценате. Фондаминский был одновременно ангелом-хранителем и глашатаем таланта Набокова в Париже. В числе других видных литераторов, редакторов и издателей-евреев, с которыми Набоков общался в Европе и Америке, следует назвать Марка Алданова (Ландау), Романа Гринберга, Абрама Кагана, Григория Ландау, Софию Прегель, Анну Присманову, Савелия Шермана (А.А. Савельева), Михаила Цетлина (Амари), Марка Вишняка. Будучи русскими по культуре, некоторые из них обратились в христианство (нередкое явление среди русско-еврейской интеллигенции в эмиграции), другие продолжали исповедовать иудаизм, третьи отошли от религии отцов, но продолжали культивировать символическую принадлежность к еврейским традициям. После переезда в США Набоков подружился с целым рядом американских евреев-интеллектуалов, включая выдающихся литературоведов Гарри Левина (Harry Levin) и Мейера Абрамса (M. H. Abrams).

Второй причиной была женитьба Набокова в 1925 году на еврейке Вере Слоним. Набоков несомненно получил представление об антисемитизме ещё в детстве и юности, начиная с аристократически-надменного отношения тётки писателя к домашнему учителю-еврею Зеленскому и кончая попыт-

³ Это моя собственная оценка. Историк Марк Раев (Marc Raeff) приводит различные статистические данные о числе эмигрантов из России, но не разделяет их ни на этнические, ни на религиозные группы. См. Marc Raeff, *Russia Abroad: A Cultural History of the Russian Emigration, 1919-1939*, New York 1990, 24.

⁴ Михаил Назаров, *Миссия русской эмиграции*, Ставрополь 1992, 103-142; см. особ. 123-128.

кой его русского одноклассника по Кембриджу всучить Набокову экземпляр „Протоколов сионских мудрецов“.⁵ Отец писателя, В.Д. Набоков, неоднократно выступал в дореволюционной печати против антисемитизма, заслужив признательность евреев и ненависть великорусских шовинистов статьёй „Кишинёвская кровавая баня“ (об апрельском погроме 1903 года) и репортажами с процесса Бейлиса (1913 г.).⁶ В девятой главе своей автобиографии, Набоков вспоминал: „Помню одну карикатуру, на которой от [отца] и от многозубого котоусого Милюкова благодарное Мировое Еврейство (нос и бриллианты) принимает блюдо с хлеб-солью – матушку Россию“.⁷ Воспитание в семье В.Д. Набокова несомненно наложило отпечаток на восприятие евреев молодым Набоковым. Тем не менее, женитьба на еврейке по-настоящему открыла Набокову глаза на существо еврейского вопроса. Хотя Вера Набокова (урожд. Слоним) выросла в Петербурге, в условиях относительного достатка и привилегий по сравнению с большинством российских евреев черты оседлости, она тоже испытала на себе антисемитизм. Отец Веры, талантливый адвокат Евсей Слоним, вынужден был оставить свою профессию после указа 1889 года, запрещавшего евреям зани-маться юриспруденцией. Евсей Слоним отказался перейти в христианство даже *pro forma*, и переменял карьеру, чтобы оставаться иудеем.

Владимир и Вера вступили в брак в Берлинской мэрии 15 апреля 1925 года. Их гармоничный брак продолжался до смерти Набокова. Муза Набокова, Вера оказала громадное влияние на творчество своего мужа. После женитьбы, обличение антисемитизма стало лейтмотивом в произведениях и поведении Набокова. Шовинистические элементы в эмиграции считали Набокова „полужидом“ не только потому что он был женат на еврейке,⁸ но и потому, что в повседневной жизни и своих произведениях Набоков, как и его отец (погибший от руки русских экстремистов в 1922), продолжал защищать евреев и бороться против антисемитизма. Живя в Германии в тридцатые годы с женой-еврейкой и сыном-полуевреем, Набоков был свидетелем становления нацизма, стремительного введения антиеврейских реформ, подготовки Холокоста. Набоков имел полные основания опасаться не только за жену и ребёнка, но и за свою собственную безопасность, и уехал из Германии в 1937 году. В том же году, в письме бывшему однокласснику-тенишевцу Самуилу Розову, обосновавшемуся в тогдашней Палестине, Набоков писал:

⁵ См. Brian Boyd, *Vladimir Nabokov: The Russian Years*, Princeton 1990, 179.

⁶ См. Boyd, *Vladimir Nabokov: The Russian Years*, 27; 55; 539; Владимир Набоков, *Собрание сочинений в четырех томах*, Москва 1990, т. 4, 243. Даты в скобках означают годы издания. В тех случаях, где переводы с английского были сделаны мною, на то даны указания – МДШ; Nabokov, *Speak, Memory*, 178.

⁷ Набоков 1990, 243.

⁸ См. Boyd, *Vladimir Nabokov: The Russian Years*, 403.

Что дальше будет, совершенно не знаем, но во всяком случае *никогда* не вернусь в Германию. Это мерзкая и страшная страна. [...] при теперешнем их строе (наиболее, кстати, для них подходящем) жизнь и вовсе стала там нестерпимой для меня – и только потому, что я женат на еврейке.⁹

В 1938 году в берлинской профашистской газете „Новое слово“ появилась отвратительная статья под названием „Литературные пелёнки“. В этой статье Набоков был заочно приговорён к смерти вместе с евреями Марком Шагаллом и Довидом Кнудом, а также Давидом Бурлюком, которого ошибочно причислили к евреям:

Грязные пелёнки с рисунками гениальных Соломончиков выросли в огромную и зловонную кучу тряпья, давно готовую для хорошо растопленной прачечной. Там, в кипящих котлах, будут смыты дочиста все эти „упражнения“ г.г. Сириных, Шагал[л]ов, Кнудов, Бурлюков и сотен других. И потекут все эти „гениальные“ произведения туда, куда стекает всякая грязь, открыв доступ свежему, национальному творчеству.¹⁰

Опережая события, заметим, что по приезде в США Набоков столкнулся с уже хорошо знакомым, равно как и ненавистным ему антисемитизмом в среде русских эмигрантов. Преподаватель русского языка в Колумбийском университете сделал Набокову комплимент по поводу его аристократического произношения: „Здесь слышишь одних жидов“.¹¹ Набоков также столкнулся с изощрённым социальным антисемитизмом американской интеллигенции англосаксонского происхождения. Путешествуя по Америке в сороковые годы, Набоков с отвращением взирал на ресторанные вывески „Gentile Clientèle Only“ (дословно означает „Только клиенты-неевреи“), размышляя над тем, обслужили ли бы в таких ресторанах самого Иисуса Христа.¹² В романе *Лолита* (1955), Гумберт Гумберт, хотя и не еврей, но при этом иностранец средиземноморского фенотипа, становится свидетелем следующей антисемитской недоговорённости: „Конечно, среди наших торговцев многовато итальянцев, – сказал рассудительный Джон, – но зато мы до сих пор избавлены от жи-“.¹³ В конце романа, Куильти обращается к Гумберту, который собирается его убить, со следующими словами: „Вы либо австралиец, либо немецкий беженец. Как это вообще случилось, что вы

⁹ Юрий Левинг, „Литературный подтекст палестинского письма Вл. Набокова“, *Новый журнал* 214, Нью Йорк 1999, 123–124.

¹⁰ Андрей Гарф, „Литературные пеленки“, *Новое слово*, 20 марта 1938, 7.

¹¹ Обратный перевод цит. по кн. Brian Boyd, *Vladimir Nabokov: The American Years*, Princeton 1991, 22.

¹² Boyd, *Vladimir Nabokov: The American Years*, 311; 107.

¹³ Nabokov, *Lolita*, New York 1967, 67.

со мной разговариваете? Это дом – арийский, имейте ввиду“¹⁴ (ср. английский оригинал „You are either Australian, or a German refugee. Must you talk to me? This is a Gentile's house, you know“).¹⁵

Набоков соприкоснулся с еврейским вопросом под воздействием воспитания в семье либерала и защитника евреев В.Д. Набокова и главным образом из-за женитьбы на еврейке и тесного общения с евреями в изгнании. Еврейская тема у Набокова выявилась постепенно к началу 1930х годов и достигла апогея в его третьем американском романе *Пнин* (1957). Сталкиваясь с перипетиями изгнания и катастрофами двадцатого столетия, еврейские персонажи Набокова – начиная с выкреста Александра Чернышевского в русском романе *Дар* (1937-38; полн. изд. 1952) и кончая стариками-евреями в американском рассказе „Знаки и символы“ („Signs and Symbols“, 1945) – пытаются осмыслить смерть как кульминационный момент познания. Взлёт нацизма и Холокост придали еврейской теме Набокова трагические очертания. Смерть евреев – друзей и возлюбленных – в фашистских концлагерях, а также столкновения с антисемитизмом в Европе и Америке, заставляют неевреев в произведениях Набокова модифицировать этические и метафизические представления.

Крещёные евреи, смерть, антисемитизм, *Дар*

В романе *Дар*, который многие критики считают высшим достижением Набокова, охвачены ключевые аспекты еврейской истории и мысли, и главные герои вовлечены в поиск бессмертия и трансцендентальности. Рассмотрим четыре связанных между собой еврейских вопроса в романе: 1. обращение евреев в христианство; 2. модели загробной жизни и сообщений с усопшими; 3. антисемитизм; 4. влияние на главного героя полуеврейки-Музы.

Один из главных героев, Александр Чернышевский, сходит с ума после самоубийства его сына Яши в веймарском Берлине. Согласно легенде в романе, деда Чернышевского окрестил православный священник, который был отцом писателя и революционера Н.Г. Чернышевского. В ходе обращения в христианство, новоявленный выкрест получил фамилию „Чернышевский“.¹⁶ Многослойная ирония вытекает из присутствия двух Чернышевских в романе. Один Чернышевский – персонаж романа Фёдора Голунова-Чердынцева *Дар*; другой – предмет биографии, которую Голунов-Чердынцев сочиняет, выпускает отдельной книгой и вставляет в свой роман в качестве главы.

¹⁴ Nabokov, *Lolita*, 276.

¹⁵ Nabokov, *The Annotated Lolita*, ed. Alfred Appel, Jr., New York 1991, 297.

¹⁶ Светлана Малышева недавно показала, что одним из прадедов Набокова был крещёный еврей, Н.И. Козлов; см. С. Малышева, „Прадед Набокова, почетный член Казанского университета“, *Эхо веков*, 1/2, Казань 1997, 131-135.

Для Александра Чернышевского, также как и для его жены и многих других крещёных евреев в дореволюционной России, приобретённая религия была пропуском в русское общество. Русский по культуре и агностик по духу, Чернышевский витает между иудейским прошлым своих предков и своим ассимилированным настоящим. Парадоксально, что несмотря на кажущуюся материалистической и агностической ориентации своего мировоззрения, Чернышевский становится в романе *представителем* Набокова – героем, который занят исследованием феноменологии смерти. Потеря сына повергает Чернышевского в отчаяние и душевную болезнь. В начале Чернышевский думает, что его сын существует в каком-то параллельном мире. После относительно спокойной стадии, во время которой Чернышевский общается с призрачными образами своего сына, он вступает во вторую стадию болезни, описанную в романе как „карикатурн[ое] огрублен[ие] того сложного, прозрачного, ещё благородного, хотя и полубезумного, состояния души, в котором так недавно Александр Яковлевич общался с утраченным сыном“.¹⁷ Во время второй стадии сумасшествия, Чернышевский отказывается от возможности потустороннего общения с сыном. Временно выпущенный из санатория, Чернышевский „был в тот вечер будто оживлённое, и даже появился знакомый тик; но уже призрак Яши не сидел в углу, не облакачивался сквозь мельницу книг“.¹⁸ И только во время третьей, последней стадии сумасшествия от горя, Чернышевский создаёт, а потом отвергает сложную модель загробной жизни.

Эпизод последней встречи Годунова-Чердынцева с Чернышевским (в сумасшедшем доме) полон намеренных двусмысленностей. Сцена отрывается псевдофилософским рассуждением на предмет смерти и бессмертия: „Когда однажды французского мыслителя Delalande на чьих-то похоронах спросили, почему он не обнажает головы (*ne se découvre pas*), он отвечал: я жду, чтобы смерть начала первая (*qu'elle se découvre la première*)“.¹⁹ Французский философ Делаланд (Delalande) – мистификация Набокова, авторская фигура, позволяющая Набокову непринуждённо высказывать свои представления о смерти и мире ином. Любопытно, что примерно через страницу дискурса Делаланда философствующий голос повествователя (или автора?) сливается с голосом Александра Чернышевского, который раздумывает о своей предстоящей смерти. Так постепенна и плавна трансформация первого голоса во второй, что читателю не ясно, суть ли дискурс Делаланда намеренное порождение авторского сознания или химера воспалённого воображения Чернышевского. В определённый момент Александр Чернышевский, отошедший от религии и происходящий из евреев христианин, однозначно

¹⁷ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 82.

¹⁸ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 176.

¹⁹ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 277.

прерывает философский дискурс Делаланда и скептически высказывается по поводу христианских представлений о загробной жизни:

Если в небесное царство входят нищие духом, представляю себе, как там весело. Достаточно я их перевидал на земле [здесь пародийная отсылка к нагорной проповеди Христа: „Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное“ (Матф. 5:3)].²⁰

Чернышевский признаётся, что перед лицом смерти его прежние представления о духах и потустороннем кажутся слишком земными и примитивными. В состоянии ясновидящего бреда Чернышевский говорит о своей беспомощности перед тайной смерти: „Конечно я умираю. Эти клещи сзади, эта стальная боль совершенно понятны. Смерть берёт за бока, подойдя сзади. А я ведь всю жизнь думал о смерти, и если жил, то жил всегда на полях этой книги [книги жизни? – МДШ], которую не умею прочесть“.²¹ Загадка предсмертного бреда Чернышевского в том, что он признаёт, что „умирая, [он удаляется] от [сына], когда, казалось бы, напротив, – всё ближе, ближе...“²² Чернышевский обеспокоен тем, что после его смерти, некому будет сообщаться с призрачным образом его сына. Накануне смерти, в минуту прозрения, он произносит: „Какие глупости. Конечно, ничего потом нет“.²³

Читатель узнаёт, что Чернышевский „в последнюю минуту оказался лютеранином“.²⁴ Возможно, что принадлежность Чернышевского к протестанству, а не к православию, как следовало бы ожидать (его деда крестил православный священник), подчёркивает поверхностный и внешний характер его христианства. Во время отпевания Годунов-Чердынцев с досадой замечает, что он никак не может „представить себе какое-то продление Александра Яковлевича за углом жизни“.²⁵ Пытаясь сосредоточиться на смерти Чернышевского, он с досадой замечает, что не в состоянии „остановить свою мысль на образе только что испелённого, испарившегося человека“.²⁶ В пассаже, описывающем похороны Чернышевского, красота и осязаемость здешнего мира противопоставляются неясности и зыбкости потустороннего. Размышляя об исчезновении Чернышевского, Годунов-Чердынцев „тут же примечал, как за стеклом чистильно-гладильной под православной церковью, с чертовской энергией, с избытком пара, словно в аду, мучат пару плоских мужских брюк“.²⁷ Такое кинематографическое наложение двух

²⁰ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 277.

²¹ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 278.

²² Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 278.

²³ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 279.

²⁴ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 280.

²⁵ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 281.

²⁶ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 280.

²⁷ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 281.

пространств, православной церкви и гладильни, воссоздаёт традиционную христианскую модель ада, где подвергают пыткам грешников. Каждый по-своему, покойный Чернышевский и Годунов-Чердынцев отвергли такие антропоморфные модели. Из „смутн[ого], слеп[ого] состоян[ия] души, непонятного ему“, главный герой романа переходит „с каким-то облегчением“ к новому осознанию космоса:

точно ответственность за его душу принадлежала не ему, а кому-то знающему, в чём дело, – он чувствовал, что весь этот переплёт случайных мыслей, как и всё прочее, швы и просветы весеннего дня, неровности воздуха, грубые, так и сяк скрещивающиеся нити неразборчивых звуков – не что иное как изнанка великолепной ткани, с постепенным ростом и оживлением невидимых ему образов на её лицевой стороне.²⁸

Эта только что изобретённая модель взаимодействия здешнего мира и мира иного позволяет главному герою осмыслить своё двомирное существование во вселенной. В этой связи примечательно, что повествование о встречах с Чернышевскими переплетено в романе с рассказом о том, как молодой писатель и философ Годунов-Чердынцев влюбляется в полуеврейку Зину Мерц. Случайно ли то, что именно после похоронной службы Годунов-Чердынцев оказывается „на [той] скамей[ке], где ночами раза два сживал с Зиной“?²⁹ Параллельное разворачивание попыток Чернышевского найти смысл потусторонней жизни и поиска самим Годуновым-Чердынцевым трансцендентальной любви – и то и другое в записи повествователя-героя – несомненно говорит о взаимосвязи этих процессов в романе. Главному герою необходимы духовные искания неверующего еврея-выкреста Чернышевского для того, чтобы понять, что загробная жизнь имеет значение, только если она влияет на жизнь человека в здешнем мире, а не как иллюзорная цель, к которой человек стремится в течение всей своей земной жизни. Такое представление о загробном мире близко современному иудаизму. Вот, например, что писала Блу Гринберг (Blu Greenberg), американский еврейский мыслитель:

Возможно, что меня так мало интересуют детали, и так сильно занимает концепция [грядущего мира], потому что *олам хабам* [„грядущий мир“ на иврите] оказывает воздействие прежде всего на мою жизнь здесь и сейчас, и не в смысле перевешивания весов вселенского правосудия, а именно как парадигма здешней теперешней жизни.³⁰

²⁸ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 281.

²⁹ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 281.

³⁰ Мой дословный перевод цит. по ст. Blu Greenberg, „Is There Life after Death?“, Jack Riemer (ed.), *Jewish Insights on Death and Mourning*, New York 1995, 327.

Почти в самом конце романа, когда Фёдор и Зина уже соединили свои жизни, Фёдора охватывает „паническое желание не дать этому замкнуться так и пропасть в углу душевного чулана, желание применить всё это к себе, к своей вечности, к своей правде, помочь ему произрасти по-новому. Есть способ, – единственный способ“.³¹ Заключительный вывод: память есть форма жизни после смерти, и искусство наделяет еврея-выкреста Чернышевского бессмертием, делая его героем в зарождающемся романе Годунова-Чердынцева.

Фёдор Годунов-Чердынцев никогда бы не завершил свой *Дар*, не будь его Музы, Зины Мерц. Весь роман становится, по словам самого Годунова-Чердынцева, „в некотором роде объяснени[ем] в любви“.³² Скрываясь под личной судьбы, авторская воля Набокова сводит Фёдора и Зину после того, как молодой писатель снимает комнату в квартире, занимаемой матерью и отчимом Зины. Мать Зины вышла замуж за Бориса Ивановича Щёголева после смерти своего первого мужа и отца Зины, еврея Оскара Григорьевича Мерца. Увидев Щёголева в первый раз, Фёдор замечает, что у него одно „из тех открытых русских лиц, открытость которых уже почти непристойна“.³³ Бывший прокурор Щёголев – характерный экземпляр распространённой разновидности русского антисемита. Это антисемитизм еврейских анекдотов и псевдосоциологических разглагольствований о международном еврейском заговоре. Доморощенный антисемитизм Щёголева есть одновременно отражение его ограниченного интеллекта и дань той мещанской Руси, которую он вывез с собой в изгнание. Тем острее и актуальнее набоковская критика тех, кто о знакомом еврее говорит, что он хоть и еврей, но при этом хороший человек!

Жизнь в одном доме с отчимом-антисемитом невыносима для Зины. Хотя Щёголев внешне заботлив по отношению к ней, он ежеминутно напоминает ей о её чужеродном еврейском происхождении. За обедом, когда Зина отталкивает от себя тарелку борща, Щёголев пытается её уговорить: „Поешь, Аида“, – сказал Борис Иванович, вытягивая мокрые губы“.³⁴ Очевидно, что имя „Аида“ содержит в себе слово „а ид“, означающее на идиш „(один) еврей“; говоря по-русски, евреи часто пользуются этим словом в качестве речевого частного кода, понятного другим евреям („он а ид“ = „он еврей“). Но подспудный антисемитизм в обращении Щёголева становится особенно ясен, если принять во внимание содержание оперы Джузеппе Верди „Аида“ (1871). В этой опере, действие которой разворачивается в древнем Египте, пленная эфиопка Аида становится возлюбленной командующего египетской

³¹ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 303.

³² Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 328.

³³ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 129.

³⁴ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 142.

армией Радамеса. В конце оперы, Аида предпочитает умереть в объятиях своего возлюбленного, и их обоих замуровывают живьем. Щёголев неустанно мучает Зину имитациями еврейского анцента и идишизмов. Вот его слова к ней перед отъездом из Берлина: „Сароцка, Сароцка, телеграфуй!“³⁵

Набоков подробным образом исследует антисемитизм Щёголева. Читатель со временем узнаёт, что после смерти отца Зины, её мать вышла за человека, „которого Мерц не пустил бы к себе на порог, за одного из тех браваурных российских пошляков, которые при случае смакуют слово ‚жид‘, как толстую винную ягоду“.³⁶ В числе самых любимых книг Щёголева пресловутая фальшивка „Протоколы сионских мудрецов“, которую он бросается обсуждать при первой возможности. В какой-то момент, Щёголев предлагает вниманию своего жильца анализ того, как евреи повлияли на его жену и приёмную дочь:

Моя супруга-подруга [...] лет двадцать прожила с иудеем и обросла целым кагалом. Мне пришлось потратить немало усилий, чтобы вытравить этот дух. У Зинки (он попеременно, смотря по настроению, называл падчерицу то так, то Аидой) нет, слава Богу, ничего специфического, – посмотрели бы вы на её кузину, – такая, знаете, жирная брюнеточка с усиками.³⁷

Не находя в Зине очевидных черт еврейского фенотипа, Щёголев даже высказывает предположение, что Зина – не дочь своего отца-еврея, а плод связи своей матери с русским любовником:

Всё таки, ведь тянуло же её к своим, – пускай она вам как-нибудь расскажет, как задыхалась в этой атмосфере, какие были родственнички – ой, Боже мой, – гвалт за столом, а она разливает чай: шутка ли сказать, – мать фрейлина, сама смолянка, а вот вышла замуж за жида, – до сих пор не может объяснить, как это случилось: богат был, говорит, а я глупа, познакомилась в Ницце, бежала с ним в Рим, – знаете, на вольном-то воздухе всё казалось иначе, ну а когда потом попала в семейную обстановочку, поняла, что влипла.³⁸

Зина старается совсем по-другому передать образ покойного отца. „В её передаче, облик отца перенимал что-то от прустовского Свана. Его женитьба на матери и последующая жизнь окрашивались в дымчато-романтический цвет“. Зина рисует отца этаким еврейским аристократом: „она рассказывала о его надупенном платке, о страсти к рысакам и к музыке“, о том, как он

³⁵ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 322.

³⁶ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 166.

³⁷ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 168.

³⁸ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 168.

„наизусть читал Гомера“.³⁹ Зина стремится выбрать те черты былого облика своего отца, которые должны „затронуть воображение Фёдора, так как ей казалось, что он отзывается лениво и скучно на её воспоминания об отце, т.е. на самое драгоценное, что у неё было показать“.⁴⁰ Фёдор, которому вообще „было решительно наплевать на распределение людей по породам и на их взаимоотношения“, стыдился даже мысли о том, что Зина подозревает его самого в том, чтоб „он относился к евреям, если не с неприязнью, в той или иной степени присущей большинству русских людей, то с зябкой усмешкой принудительного доброхотства“. Фёдору очевидно, что „болезненно заострён[ая] гордость“⁴¹ Зины подогревается постоянными проявлениями расовых предрассудков Щёголева. Еврейское самосознание Зины не лишено противоречий; в её глазах шеф конторы был „немецкий, впрочем, еврей, т. е. прежде всего – немец“⁴² (и потому, вероятно, чуждый Зине человек). Еврейское самосознание Зины складывается из генетических и исторических характеристик. Религия никогда не фигурирует в её высказываниях о еврействе, впрочем как и вообще в её разговорах с Фёдором. Она воспитана на той же поэзии и культурной мифологии, что и сам Фёдор. Еврейство Зины в значительной мере защитная реакция, антидот против русской ксенофобии, т.е. самосознание путём отрицания. Кстати сказать, жена Чернышевского замечает в разговоре с Фёдором, что Зина неохотно признаётся в своём еврействе. Как бы то ни было, Зина повлияла на перемену отношения Фёдора к еврейскому вопросу. Меняющееся отношение Фёдора к евреям, в начале общие места о равноправии всех людей, а потом „личный стыд, оттого что молча выслушивал мерзкий вздор Щёголева и то нарочитое коверканье русской речи, которым тот с наслаждением занимался“⁴³ повторяет трансформацию самого Набокова под влиянием его жены Веры. Нетерпимый к малейшим нюансам антисемитского поведения, Набоков защищал не только еврейство жены, но и своё собственное приобретенное еврейство.

В середине романа, Фёдор Годунов-Чердынцев формулирует „что его больше всего восхищало в [Зине]“:

Её совершенная понятливость, абсолютность слуха по отношению ко всему, что он сам любил. В разговорах с ней можно было обходиться без всяких мостиков, и не успевал он заметить какую-нибудь забавную черту ночи, как уже она указывала её. И не только Зина была остроумно и изящно создана ему по мерке очень постаравшейся судьбой, но оба они, образуя одну тень, были созданы по мерке чего-то не

³⁹ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 168.

⁴⁰ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 168-169.

⁴¹ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 169.

⁴² Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 169.

⁴³ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 169.

совсем понятного, но дивного и благожелательного, бессменно окружавшего их.⁴⁴

Признание того, что Зина и Фёдор идеально дополняют друг друга, что переплетение их жизней образует некий трансцендентальный узор судьбы, есть не что иное как раскрытие композиционного принципа романа Годунова-Чердынцева и Набокова. В этом романе Зина – одновременно полуеврейка и Муза – не только вдохновляет Фёдора и выступает в качестве его первого читателя и судьи, но и символизирует ту идеализированную Россию-возлюбленную, которую Набоков так стремился сохранить в изгнании. В этой бессмертной и возвышенной России, полуславянской и полуюеврейской, еврейский вопрос разрешается гармоническим путём – прекрасная и недостижимая мечта Набокова!

Зильберманн, авторский представитель-еврей, *Настоящая жизнь Себастьяна Найта*

Нельзя не коснуться вкратце первого романа, написанного Набоковым по-английски. V., повествователь *Настоящей жизни Себастьяна Найта* (1939; опубл. 1941), тщетно пытается восстановить обстоятельства жизни своего сводного брата, английского писателя русского происхождения. V. особенно занимает личность последней, роковой возлюбленной брата. В состоянии „полной растерянности“⁴⁵ почти готовый к тому, чтобы отказаться от дальнейших поисков, V. садится в пассажирский поезд, отправляющийся в Страсбург. На следующей станции, „маленький человек с кустистыми бровями поздоровался [с V.] на континентальный манер, на тяжёлом гортанном французском, и сел напротив“⁴⁶ Поезд въезжает „прямо в закат“, и V. замечает, что его попутчик „сияет“⁴⁷ глядя прямо на него. Так начинается это сказочное знакомство.

Маленький человек, назвавшийся Зильберманном, говорит по-английски свободно, хотя и с сильным акцентом, выдающим человека, родной язык которого – идиш. Будучи коммивояжёром, Зильберманн обладает поразительными знаниями в области географии и экономики Европы, а также европейских языков. Он намекает на то, что раньше служил в полиции сыщиком, и, кажется, способен распознать запутанные мысли повествователя. Зильберманн демонстрирует владение „забытым русским языком“⁴⁸

⁴⁴ Набоков, *Собрание сочинений*, 3, 159.

⁴⁵ Nabokov, *The Real Life of Sebastian Knight*, New York 1992, 123. Здесь и далее мой дословный перевод с английского Набокова – МДШ.

⁴⁶ Nabokov, *The Real Life*, 123.

⁴⁷ Nabokov, *The Real Life*, 123.

⁴⁸ Nabokov, *The Real Life*, 126.

брошенное им невзначай выражение „милый брат“⁴⁹ намекает на то, что Зильберманну всё известно о покойном Себастьяне Найте (брате V.), а также располагает самого V. к Зильберманну. Зильберманн предлагает свои услуги, а именно содействие в поиске необходимой информации, „полного списка всех, кто останавливался в отеле Beaumont в июле 1929 года [...] некоторых подробностей о них, по крайней мере о женщинах [...] мне необходимо удостовериться в том, что под иностранным именем не скрывается русская женщина“.⁵⁰ Когда речь заходит о плате за услуги, Зильберманн запрашивает экземпляр будущей биографии Себастьяна Найта, которую V. предполагает написать, а также компенсацию за „возможные расходы“.⁵¹

Сдержав своё обещание, Зильберманн достаёт желанный список постояльцев гостиницы. V. и Зильберманн сужают число подозреваемых до четырёх женщин. В конце разговора Зильберманн предупреждает V. об опасностях копания в прошлом покойного Найта: „Ви не газглядите другой стогонны луцы. Пгошу вас, не ищите её“.⁵² Зильберманн исчезает так же внезапно, как и возникает на пути V., не оставив даже и адреса. Согласно договорённости, клиент (V.) должен был оплатить расходы частного детектива (Зильберманн). Загадочным образом, Зильберманн возвращает V. ту небольшую сумму, которую он с него затребовал за „расходы“, а также сдачу и стоимость записной книжечки, которую он до этого подарил V. В результате, Зильберманн платит V. за то, что тот воспользовался его услугами (а не наоборот).

Такая почти абсурдная причинность событий совершенно естественна в мире Набокова. Еврей Зильберманн является характерным *авторским представителем* Набокова (таковые встречаются и в других произведениях, включая рассказ „Облако, озеро, башня“ и роман *Дар*).⁵³ Как представитель автора, Зильберманн причастен к мировоззрению Набокова и понимает, как устроен роман, в котором он действует. Зильберманн помогает V. собрать материал для воссоздания „настоящей жизни“ Себастьяна Найта, тем самым позволяя Набокову продолжать написание романа. Блуждающий по Европе в конце 1930-х годов еврей (беженец?) Зильберманн – самый что ни на есть логический выбор для фигуры авторского представителя в тот период, когда и сам Набоков „искал выход“.⁵⁴

⁴⁹ Nabokov, *The Real Life*, 126.

⁵⁰ Nabokov, *The Real Life*, 127-128.

⁵¹ Nabokov, *The Real Life*, 128.

⁵² Nabokov, *The Real Life*, 130.

⁵³ Авторские представители Набокова рассматриваются, к примеру, в моей недавней книге Maxim D. Shrayeg, *The World of Nabokov's Stories*, Austin 1999, гл. 1, 2.

⁵⁴ Это выражение („Searching for an Exit“) принадлежит Брайену Бойду, который так озаглавил последнюю главу первого тома своей биографии, Vladimir Nabokov: *The Russian Years*.

Холокост, воспоминания, Пнин

Во время американского периода, Набоков вновь обратился к еврейской теме в 1948 году, работая над одним из своих лучших рассказов, „Знаки и символы“. В центре внимания рассказа пожилая супружеская пара русско-еврейских эмигрантов, живущих в послевоенном Нью-Йорке. Старики-родители озадачены поиском подходящего подарка на день рождения душевнобольного сына: „У него не было желаний. Предметы, сделанные человеческими руками, были для него либо ульями зла, кипящими зловещей деятельностью, которую только он сам был способен воспринимать, или громадными удобствами, для которых не было применения в его абстрактном мире“.⁵⁵ Нужен подарок, не вызывающий безопасных ассоциаций. Пожилые евреи-родители уехали из России после революции, прожили до войны в Германии, потом бежали в Америку. Как тонко заметила исследователь творчества Набокова Леона Токер, „еврейство [стариков-родителей] важно [...] для того, чтобы вписать происходящее с их сыном в исторический контекст. Душевная болезнь этого молодого человека – патологически-сгущённое выражение еврейского опыта в Европе во время Холокоста“.⁵⁶ Тень Холокоста висит над пространством повествования. Пожилая еврейская дама вспоминает „тётю Розу, суетливую, угловатую женщину с бешеными глазами, которая существовала в дрожливом мире плохих новостей [...] до тех пор, пока немцы не убили её, вместе со всеми теми, о ком она беспокоилась“.⁵⁷ Но смерть присутствует в каждодневной жизни супругов-эмигрантов не только в форме памяти о Холокосте. Их сумасшедший сын, который воспринимает всё окружающее как заговор против себя, пытается покончить жизнь самоубийством, надеясь „прорвать дыру в своём мире и совершить побег“. После поездки в санаторий к сыну старик-еврей долго не может заснуть:

[...] он вошёл, тяжело ступая; поверх халата было надето старое пальто с каракулевым воротником.

„Я не могу спать“, – закричал он.

„Почему“, – спросила она, – „почему ты не можешь спать? Ты же так устал“.

⁵⁵ Nabokov, *The Stories of Vladimir Nabokov*, New York 1997, 598. Здесь и далее мой дословный перевод с английского Набокова – МДШ.

⁵⁶ Мой дословный перевод цит. по изд. Leona Toker, „Signs and Symbols‘ in and out of Contexts“, Charles Nicol и Gennady Barabtarlo, (eds.), *A Small Alpine Form: Studies in Nabokov's Short Fiction*, New York 1993, 274-275

⁵⁷ Nabokov, *Stories*, 601.

„Я не могу спать, потому что я умираю“, – сказал он и прилёг на диван. [...] Мы должны его немедленно отсюда забрать. Иначе мы будем в ответе! В ответе!“⁵⁸

Шекспировская тема – тема моральных последствий бездействия – звучит в словах старого отца. Для него самоубийство сына равнозначно его собственной смерти. Родители принимают решение „забрать [мальчика] домой“ утром следующего дня: „Каждый из нас будет часть ночи проводить рядом с ним, а другую на диване“.⁵⁹ Набоков оставляет концовку открытой, и читатель наблюдает за „неожиданным праздничным чаепитием“⁶⁰ в убогой квартирке, где надежда пожилых еврейских родителей на чудо соседствует со страхом и ожиданием смерти.

Американский роман *Пнин* – высшая точка еврейской темы Набокова. В романе *Пнин* Набоков вновь затрагивает две центральные темы *Дара* – тьму потусторонней жизни и тему любви между русским мужчиной и еврейской женщиной. В то время как в романе *Дар* Фёдора и Зину сводит заботливая судьба, в *Пнине* Набоков моделирует трагический сценарий. Тимофея Пнина и его возлюбленную Миру Белочкину сначала разлучает революция и гражданская война; потом Мира погибает в нацистском концлагере, а Пнин пытается сохранить воспоминания о своей возлюбленной, а также осмыслить своё существование после Холокоста.

Роман *Пнин* перенимает не только темы *Дара*, но и их структурное исполнение. В особенности, Набоков включил в тексты обоих романов философские отступления на предмет смерти и загробного мира. В обоих случаях, Набоков сливает своё авторское сознание с сознанием героев (Чернышевский; Пнин). Сидя на парковой скамье, профессор Пнин старается совладать с острым сердечным приступом, который особенным образом синхронизирует различные слои и этапы воспоминаний в его сознании. В этот самый момент рассказчик предлагает вниманию читателя следующую медитацию („Или то была какая-то таинственная болезнь, которой ни один из его докторов ещё не обнаружил, спрашивал себя мой приятель. Я тоже хочу это понять“):

Не знаю, замечено ли кем-нибудь прежде, что одна из главных особенностей жизни – обособленность. Без покрова плоти, окутывающего нас, мы умираем. Человек существует лишь постольку, поскольку он отделён от своего окружения. Череп – это шлем астронавта. Оставайся в нём, иначе погибнешь. Смерть есть разоблачение, смерть – это при-

⁵⁸ Nabokov, *Stories*, 601-602.

⁵⁹ Nabokov, *Stories*, 602.

⁶⁰ Nabokov, *Stories*, 602.

общение. Чудесно, может быть, смешаться с пейзажем, но это конец хрупкого „я“.⁶¹

В этой медитации высказывается весьма скептическое отношение к возможности выживания человеческого „я“ в потустороннем мире. Именно поэтому роман *Пнин* в большой мере посвящён попыткам главного героя найти оправдание своей собственной жизни ввиду мучений и смерти Миры Белочкиной в концлагере.

Пнин – канонический русский интеллигент. Он происходит из либеральной петербургской среды, в которой не делалось различий между русскими и евреями. В течение всего романа, Пнин размышляет о жизни после смерти и соприкасается с евреями и антисемитизмом. К примеру, бывшая жена Пнина, Лиза – беспринципная и коварная женщина – рассказывает ему о своём новом друге: „Его отец был мечтатель, имел плавучее казино, ну и так далее, но его разорили какие-то еврей-гангстеры“.⁶² Крайне сомневаясь в традиционных представлениях о рае и аде, и испытывая омерзение к Лизе из-за её кокетливого антисемитизма, Пнин думает про себя: „[Е]сли люди соединяются на небесах (я в это не верю, но предположим), то как смогу я помешать ей наползать на меня, через меня, этой сморщенной, беспомощной, убогой её душе?“⁶³ В эту минуту, когда Пнин чувствует близость „простого разрешения вселенской загадки“, белка прерывает его раздумья. Эта белка – некая инкарнация Миры Белочкиной⁶⁴ – передаёт „настойчив[ую] просьб[у]“,⁶⁵ и Пнин прекрасно её понимает без слов. Еврейка-белка появляется в романе, чтобы напоминать Пнину о его моральной ответственности и руководить его духовными исканиями.

Еврейская тема в романе достигает кульминации в эпизоде на даче, где Пнин общается с живописной группой эмигрантов, среди которых есть и евреи. В какой-то момент, он вынужден присесть на скамейку, чувствуя подступающий сердечный приступ. В это самое время к нему подходит Роза Шполянская, жена либерального политического деятеля 1910-х годов: „Мы, кажется, никогда не встречались. Но вы хорошо знали моего двоюродного брата и сестру, Гришу и Миру Белочкиных. Они постоянно говорили о вас. Он теперь, кажется, живёт в Швеции – и вы, конечно, слышали об ужасной смерти его несчастной сестры“.⁶⁶ Пнин противится встрече с прошлым, но

61 Набоков, *Пнин*, пер. с англ. Геннадия Барабтарло при уч. В.Е. Набоковой, Ann Arbor 1983, 21.

62 Набоков, *Пнин*, 54-55.

63 Набоков, *Пнин*, 56.

64 См. об этом W.W. Rowe, *Nabokov's Spectral Dimension*, Ann Arbor 1981, 62-67. Геннадий Барабтарло не согласен с такой трактовкой; см. Gennady Barabtarlo, *Rhantom of Fact: A Guide to Nabokov's Pnin*, Ann Arbor 1989, 22.

65 Набоков, *Пнин*, 56.

66 Набоков, *Пнин*, 125.

память оказывается сильнее. Мучительные и идиллические воспоминания Пнина о прошлом напоминают мемуары самого Набокова о „Тамаре“, первой любви писателя (*Другие берега*, гл. 11).

Почему же Пнин избегает воспоминаний о Мире? Как понять следующее предложение: „Чтобы рационально существовать, Пнин приучил себя за последние десять лет никогда не вспоминать Миру Белочкину [...]“⁶⁷ *Modus vivendi* Пнина, его запрет на воспоминания о погибшей возлюбленной, есть прямое следствие Холокоста. Как же может Пнин, моральный и благородный человек, продолжать жить в опустошённом послевоенном мире посредством отрицания своего собственного права вспоминать о жертвах Холокоста, если „никакой совести, а значит и никакому самосознанию нельзя было существовать в мире, где возможны были такие вещи, как Мирина смерть“⁶⁸ Возможно ли, что русский герой в американском романе Набокова подытожил с потрясающей ясностью тот факт, что человеческое сознание стремится к тому, чтобы смириться даже с такими непостижимыми катастрофами, как потеря шести миллионов человеческих жизней?

Набоковское описание возможных сценариев смерти Миры Белочкиной, которые Пнин прокручивает в голове, принадлежит к лучшим страницам мировой литературы о Холокосте:

Надо было забыть – потому что нельзя было жить с мыслью, что эту вот милую, хрупкую, нежную молодую женщину, вот с этими глазами, с этой улыбкой, с этими садами и снегами на заднем плане, привезли в скотском вагоне в истребительный лагерь и убили, впрыснув фенола в сердце, в то самое кроткое сердце, бисёе которого ты слышал под своими губами в сумерках прошлого. И оттого, что не было точно известно, какой именно смертью умерла Мира, она продолжала умирать в его воображении множеством смертей, и множество раз воскресала – чтобы снова и снова умереть, уводимая вышколенной медицинской сестрой на прививку грязью, бактериями столбняка, битым стеклом, отравленная под фальшивым душем с синильной кислотой, сожжённая заживо в яме на пропитанной бензином куче буковых дров. По словам следователя, с которым Пнину случилось как-то говорить в Вашингтоне, твердо установлено было только то, что её, как слишком слабую, чтобы работать (хотя и улыбающуюся, всё ещё находящую силы помогать другим еврейским женщинам) отобрали для уничтожения и сожгли в крематории через несколько дней по прибытии в Бухенвальд, в чудесной лесистой местности с громким именем Большой Этгерсберг. Это в часе ходьбы от Веймара, где гуляли Виланд, Гердер, Гёте, Шиллер, несравненный Коцебу и другие.⁶⁹

⁶⁷ Набоков, *Пнин*, 127.

⁶⁸ Набоков, *Пнин*, 128.

⁶⁹ Набоков, *Пнин*, 128.

У самого Набокова в концлагерях погибли близкие друзья. Брат Набокова Сергей, не будучи евреем, тем не менее попал в гамбургский концлагерь и там умер от истощения в 1945 году. Набоков и его жена так и не „посетили Германию после возвращения в Европу [в 1959 году]; они не мог[ли] забыть преступлений и простить преступника“.⁷⁰ Однако, согласно первому биографу Набокова, Эндрю Филду (Andrew Field), в 1970-е годы Набоков подумывал о более исчерпывающем произведении о нацистских концлагерях: „Я испытываю чувство ответственности перед этой темой, и со временем я вернусь к ней. И поеду туда, где были немецкие лагеря, посмотрю на них, и напишу ужасное обвинение“.⁷¹

Подобно многим еврейским мыслителям, писавшим после окончания Второй Мировой войны, русский интеллигент Тимофей Пнин – вымышленное alter ego Набокова – скептически относится к существованию всемогущего и доброго Бога ввиду ужасов Холокоста. Как объяснить, и более того, как оправдать муки праведных? Какова коллективная судьба мучеников Холокоста после их физического уничтожения нацистами? Каковы индивидуальные судьбы тех родных и любимых, которых евреи потеряли в газовых камерах? Как может Тимофей Пнин продолжать жить после того, что было позволено во время Холокоста? Вправе ли он надеяться на личное бессмертие души, если шесть миллионов ни в чём неповинных людей бесследно исчезли, и никто не в состоянии объяснить их исчезновение ни метафизическим, ни этическим путём?

И всё-таки несмотря на смертоподобные спазмы сердца, воспоминания о Мире Белочкиной помогают Пнину выявить модель выживания души после смерти – модель, которая наполняет смыслом его жизнь после Холокоста:

Пнин медленно брёл под торжественными соснами. Небо меркло. Он не верил в самодержавного Бога. Он смутно верил в демократию духов. Быть может, души умерших образуют комитеты, которые на своём непрерывном заседании решают участь живых.⁷²

Осознание Пниным смысла своего существования очень близко представлениям современного иудаизма о том, что жизнь в загробном мире имеет значение только тогда, когда она приносит пользу живущим в этом мире.

⁷⁰ Alfred Appel Jr., „Nabokov: A Portrait“, Alfred Appel Jr. и Charles Newman (eds.), *Nabokov: Criticism, Reminiscences, Translations and Tributes*, Evanston 1970, 6.

⁷¹ Мой дословный перевод цит. по изд. Andrew Field, *VN: The Life and Art of Vladimir Nabokov*, New York 1986, 104.

⁷² Набоков, Пнин, 129.

Вместо заключения: „Образчик разговора, 1945“

23 июня 1945 года американский журнал „Нью Йоркер“ („The New Yorker“) опубликовал рассказ Набокова „Двойственная речь“ („Double Talk“), который был позднее переименован в „Образчик разговора, 1945“ („Conversation Piece, 1945“). В нём ощутимо влияние фельетонных рассказов Набокова начала 1930х годов. Главного героя, русского писателя-эмигранта, преследует двойник. Герой Набокова представляет своего „компрометирующего тезку, полностью, от имени до фамилии [...] этаким молодым белоэмигрантом, изначально реакционного типа“.⁷³ В течение тех лет, которые писатель провёл в европейском изгнании, вездесущий двойник попортил ему много крови. Однажды писатель даже получил письмо, в котором „в раздражённых тонах от [него] требовали вернуть экземпляр „Протоколов сионских мудрецов““. Зловещий двойник – полная противоположность писателя. Он хам, антисемит и реакционер. И он, как и сам писатель, оказывается в США. Как в страшной сказке, где добродетельный принц попадает в царство зла, главный герой по ошибке принимает приглашение, предназначенное для его адского двойника.

Это отвратительное суаре происходит в Бостоне, в доходном доме, где лифтер похож на Рихарда Вагнера. Среди присутствующих целый ряд антисемитов, включая „полковника Маликова или Мельникова“, который жалуется на то, как „еврей-большевики поступили с русским народом“⁷⁴ и обожает Сталина, а также миссис Малбери, которую в ужас привели слова старого русского еврея, делового партнёра её мужа, который „признался [...], что с радостью задушил бы своими руками первого встречного немецкого солдата“.⁷⁵ Гвоздь программы – д-р Шу (Dr. Shoe), называющий себя „немцем, чистых баварских кровей, хотя и преданным американским гражданином“. Доклад д-ра Шу и в самом деле мог бы сойти за искреннее воззвание о помощи Германия поэтов, философов и музыкантов, доведённой до разрушения сумасшедшим Адольфом, если бы выступающий не сосредоточился на причинах и восприятии Холокоста. Не подумайте: этот пропагандист с „поснявшимися тёмными волосами и сверкающей бровью“⁷⁶ ни разу не употребляет термин „Холокост“. Напротив, он говорит о „немецких парнях, гордо входящих в какой-нибудь польский или русский город, завоёванный ими“, ожидая от местного населения радушного приёма и видя вместо того, что улицы, „по которым они так задорно, так уверенно маршировали, окаймлены безмолвной и неподвижной толпой евреев, взиравших на них с

⁷³ Цит. с небольшими изменениями по переводу Дмитрия Чекалова, *Новый мир*, 9, 1995, 109-116.

⁷⁴ Nabokov, *Stories*, 113.

⁷⁵ Nabokov, *Stories*, 113.

⁷⁶ Nabokov, *Stories*, 110.

ненавистью и оскорблявших каждого проходящего солдата“.⁷⁷ Д-р Шу объясняет, что

сначала [немецкие власти] пытались побороть эту ненависть терпеливыми разъяснениями и маленькими знаками доброты. Но стена ненависти, обступившая их, становилась только толще. В конце концов пришлось изолировать главарей злобной и дерзкой коалиции. Что ещё им оставалось делать?⁷⁸

Лживое выступление д-ра Шу находит отклик среди гостей. „Коренастая дама, сидевшая широко расставив колени“, восклицает, что „любой разумный человек согласится [...], что [немцы] неповинны в так называемых зверствах, большая часть которых была, возможно, выдумана евреями“.⁷⁹ Совершенно очарованный приёмом, оказанным ему представителями американской англосаксонской интеллигенции, д-р Шу „с кошмарной улыбкой“ продолжает свои антисемитские и лживые выпады: „следует учесть [...] и принять во внимание работу живого семитского воображения, которое воздействует на американскую прессу. Нельзя также забывать, что существовало множество чисто санитарных мероприятий, к которым вынуждена была прибегнуть дисциплинированная немецкая армия, имея дело с трупами [...]“.⁸⁰ В заключение своего выступления, д-р Шу предлагает сыграть на рояле национальный гимн США, „The Star-Spangled Banner“. В ту же самую минуту герой рассказа, „чувствуя, что [ему] этого не вынести, ощутив физическую дурноту, [...] поднялся и поспешно покинул комнату“.⁸¹ Хотя этот остроумный рассказ продолжается поньше, мне бы хотелось остановиться на этом месте и отдать дань прозорливости творческого воображения Набокова. Набоков предупреждает своих читателей, всех этих миссис Холл и миссис Малбери, о будущих попытках фальсифицировать историю Холокоста. Рассказ Набокова принадлежит к числу самых первых произведений американской литературы о Холокосте, и в нём подводятся итоги разбора антисемитизма в русскоязычных произведениях писателя. Набоков разъясняет своим американским читателям, что антисемитизм опасен ещё и тем, что он часто бывает завуалирован риторикой, приятной для слуха интеллигентов и патриотов. Приговор Набокова беспощаден: антисемитизм подогревается не только ненавистью, но и безразличием. Перед тем, как хлопнуть дверью, русский писатель заявляет хозяйке дома: „Вы либо убийцы, либо идиоты [...], либо и то и другое“.⁸²

⁷⁷ Nabokov, *Stories*, 113.

⁷⁸ Nabokov, *Stories*, 113.

⁷⁹ Nabokov, *Stories*, 113.

⁸⁰ Nabokov, *Stories*, 113.

⁸¹ Nabokov, *Stories*, 114.

⁸² Nabokov, *Stories*, 115.